



Библиотека узбекской советской прозы

Назир Сафаров
ГРОЗА





ЛЮДИ ЖДУТ ПРИЛЕТА АИСТА, ПОТОМУ ЧТО ОН НЕСЕТ С СОБОЙ ВЕСНУ. ВСЕ ВИДЯТ БЕЛУЮ ПТИЦУ, СПУСКАЮЩУЮСЯ В СВОЕ ГНЕЗДО. А ВОТ КОГДА ОНА УЛЕТАЕТ, НЕ ЗНАЕТ НИКТО. МОЖЕТ, ОНА НЕ УЛЕТАЕТ ВОВСЕ, А ОСТАЕТСЯ С НАМИ, ЭТА БЕЛАЯ ПТИЦА, ОСТАЕТСЯ В НАС, КАК СИМВОЛ ВЕСНЫ, КАК ВЕЧНАЯ ВЕРА В ТОРЖЕСТВО СВЕТА...

Назир Сафаров

821.512.133-31
021

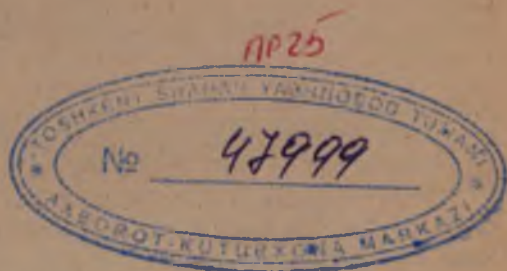


Назир Сафаров

ГРОЗА

РОМАН

Перевел с узбекского
Вл. Солоухин



ТАШКЕНТ

Издательство литературы и искусства
имени Гафура Гуляма
1984

Уз2
С21

Сафаров, Назир.

Гроза: Роман/Пер. с узб. Вл. Солоухин; [Худож. В. И. Елизаров]. — Т.: Изд.-во лит. и искусства, 1984. — 224 с., ил.

Долгими были поиски человеческого счастья у юного Хатама, а обладание этим счастьем оказалось коротким. Какие-то мгновения По следам герся уже мчались на быстрых конях иуеры эмира, чтобы убить само желание найти счастье.

Роман народного писателя Узбекистана Назира Сафарова «Гроза» возвращает читателя в предреволюционный бухарский эмират, дает широкую картину жизни простого люда, обездоленного, угнетенного, несправного, но идущего по пути к свету, свободе и счастью.

Уз2

С 4702570200 Рез-84
М352(04)-84

©. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма (перевод, оформление), 1984 г.

Спутнику жизни, верному другу,
матери детей моих Мукамбар Кари-
евой с душевной радостью посвящаю.

Автор

ДЕХИБАЛАНД

В Нуратинских горах, если подходить к ним со стороны Кермине, а именно на склоне Ак-тага располагался некогда город Зайнулабар. Так, по крайней мере, говорят нам историки. Устные предания добавляют, что женщина Зайнулаб, чьим именем назывался город, была женой имама Мухаммеда Ханафи. А было все это в отдаленные времена нашествия арабов.

Теперь на месте бывшего города остался кишлак под названием Дехибаланд — «Высокое место». Каждый идущий теперь из Газганского рудника в Кермине непременно проходит через этот кишлак, поднимается затем на новую высоту «Черный ворон» и попадает в глубочайшую щель, промытую горным ручьем. Пропасти и пещеры в этой промоине настолько ужасающи, что одинокого путника охватывает невольный страх. Этот жуткий путь ведет в бывшую Кермине, то есть в теперешний, современнейший, среди пустынных мест недавно построенный город Навои.

Как мы уже сказали, кишлак Дехибаланд располагается вблизи дороги, ведущей в Кермине, а на холме около кишлака стояла раньше мечеть, названная именами двух правоверных. Называлась она — мечеть имама Хасана, имама Хусана.

Тут же рядом в описываемые нами времена имелся маленький родниковый хауз. Он всегда был полон до краев и всегда в нем кишели маленькие шустрые рыбки. Над зеркалом прудика, осеняя и затеняя его весь, раскинулись ветви старого тутового дерева с белыми, сочными, медовой сладости плодами. Что делалось

с рыбками, когда эти плоды, перезрев, начинали сыпаться в воду! Впрочем, о питании здешним бесчисленным рыбкам заботиться не приходилось. Путники останавливались около хауза и зимой и летом, и каждый норовил покормить рыбок хотя бы крошками. Да и мальчишки из кишлака любили прибегать сюда и забавлялись, кидая рыбкам какой-нибудь корм. Ведь не могло же быть, чтобы путник прошел мимо хауза, не остановился бы на короткий отдых, умыться, попить холодной родниковой воды, отдохнуть под широкой и благодатной тенью тутовника. Примечательно, что никогда ни один человек еще не позарился на рыбок. Пьют люди зеленовато-прозрачную воду из хауза, а напившись, не забывают произнести слово удовлетворения и благодарения, «шукур» — говорят они. А потом кидают рыбкам корм и развлекаются, глядя, как стаи рыбок со всех сторон набрасываются на плавающий кусочек лепешки, как самая ловкая или сильная схватывает добычу и уносится с ней, а остальные бросаются вдогонку, щиплют хлеб, теребят, а когда кончается брошенный корм, то в ожидании новой подачи выпрыгивают из воды, кувыркаются и резвятся...

...Стояла осенняя пора. Перевалило за полдень. Близилось время совершения третьего намаза. Суфий кишлака Дехибаланд Айма-бобо подметает двор мечети имама Хасана, имама Хусана. Суфию больше шестидесяти лет. Он среднего роста, полноватый и бородатый, глаза у него слегка косят, по-видимому, он уже устал от своей работы: время от времени выпрямляется с трудом, морщась и охая, стоит, опершись на палку метлы и причитает: «Ох, старость — не радость». В это время он смотрит вдаль на сельское кладбище.

Впрочем, с этого высокого места, с холма, от мечети видны обширные пространства Нуратинского оазиса: привольные пастбища, большие и маленькие кишлаки, горы Актаг, Коктаг и Джодитаг. Горы — в дымке, в неподвижности, в дреме, в вековом непробудном сне.

Мысли старца в это время тоже, как видно, далеко. Он вспоминает своих ровесников, давно перешедших в потусторонний мир, вспоминает знакомых и близких, проживших свой век и успокоившихся на том вон кладбище. Усталое, тучное тело тянет его к земле. Айма-суфий присел и, прочитав молитву об успокоении духа умерших, почувствовал как будто некоторое облег-

чение, но взгляда своего от кладбища оторвать все равно не мог. Начали оживать в нем далекие и близкие воспоминания, свое пережитое, слышанное от отца и деда, запомнившееся навсегда.

«О, святая сила,— думал старик,— что пользы терзать душу, что пользы думать. Требовалась молитва об успокоении умерших, я ее совершил. Что же еще требуется, чтобы успокоиться мне самому? Им — царство небесное, а живым благоденствие... Ну, теперь уж встану, поднимусь как-нибудь. Займусь приготовлением к намазу. Спину разломило, а встать надо».

Старик сделал усилие, чтобы подняться, но к удивлению и к испугу своему, подняться не смог, не хватило сил, ноги стали вялыми и ватными, а в глазах затуманилось, поплыло, закачалось.

— Что это со мной?— невольно вслух прошептал суфий. В колеблющемся тумане над кладбищем появились как будто фигуры людей, худые, костлявые, над каждой могилой по человеку. Вон как будто покойный Мирхаджи, вон пастух Сарымсаквай, а этот еще справа от пастуха... о аллах!.. Суфий не только крепко зажмурил глаза, но и загородил их рукой. Так с закрытыми глазами он просидел довольно долго, когда же открыл их, то никакого тумана и никаких фигур над могилами уже не было. В мире царила тишина, только слышался отдаленный лай собаки да еще шел к мечети со стороны кладбища человек в облиии дервиша. Этого живого дервиша суфий испугался почему-то не меньше, чем туманных и расплывчатых фигур над могилами.

Он снова хотел подняться, но снова зашумело у него в ушах, а перед глазами пошли круги. Схватившись за голову, суфий зашептал:

— Защити меня, аллах! Что это происходит со мной? Горе, горе, кажется, настал мой последний час. Да, разумеется, все мы знаем, что жизнь преходяща, а смерть всеильна. И шаха и дервиша ждет на этом свете один конец. Слава аллаху, я честно хранил на этом свете вверенную мне душу. Неблагочестивых поступков старался не совершать, не лгал, одурманивающих и пьянящих напитков не пил, никого не обижал, не воровал, не развратничал. Прожили мы со старухой тихо, мирно и честно. Стыд был для нас сильнее смерти, а совесть — прежде всего. Судьба не наделила нас детьми, но мы не роптали на аллаха,— продолжали

славить его за все, что он нам послал. Однако моя старуха состарилась быстрее, чем я, и если сейчас прервутся мои дни и закроются мои глаза, то как же она будет существовать без меня? Ведь мы были в жизни опорой друг другу. А теперь вот силы покинули мое тело, ноги и руки перестали слушаться меня, зрение меркнет... Ослабела и старуха. Как она будет скитаться в одиночестве и согбенной дряхлости?

Так суфий просидел некоторое время. Постепенно немного сил вернулось к нему. Удалось кое-как подняться на ноги. Многократно благодаря аллаха, он двинулся с места. Сначала ухватился за столб мечети, потом мелкими шажками добрался до ее стены и, держась за стену, словно ребенок, который только еще учится ходить, осторожно стал пробираться к двери. На пороге он снова присел. Человек в облике дервиша не выходил из головы. Суфий опять посмотрел в сторону кладбища и увидел, что незнакомец значительно приблизился к мечети. Суфий не мог оторвать от него взгляда. Кто это?

Между тем странник подошел к воротам, поднялся по ступенькам и оказался во дворе мечети. Под мышкой он держал что-то завернутое в синий платок, наверное, что-нибудь из одежды и лепешку,— предположил суфий,— сытый конь ведь никогда не устанет.

Оглядывая окрестную долину оазиса с высоты Де-хибаланда, незнакомец от восхищения покачивал головой и прицокивал языком. Отчетливо были видны ему и все кишлаки и все пастбища, раскинувшиеся между Ак-тагом и Кара-тагом, пастбища, зеленевшие свежестью ярких трав.

Налюбовавшись прекрасными окрестностями, пришелец мельком, исподлобья взглянул на суфия, затем, не поприветствовав даже его, схватил стоявшие поблизости ведра и скорым шагом, перескакивая через ступеньку, направился в сторону родника.

Всех здешних людей суфий знал. Не похож он на здешнего. И как же это так — не произнести ни одного приветственного, доброго слова! Очень удивился незнакомцу Аймат-суфий. Он положил метлу на землю, сел на супу* и стал наблюдать за странным человеком, рассуждая про себя: «Да, он похож на странствующего дервиша. Но ведь те ходят в рубище, в от-

* Земляное возвышение для отдыха.

репьях, в то время как одежда этого человека вовсе не похожа на рубище. Такую чалму носят только хаджи, то есть те, кто совершил паломничество в Мекку и Медину. Так кто же он — хаджи или дервиш? И откуда он появился?

Между тем, зачерпнув два ведра воды, незнакомец снова поднялся по ступенькам и принялся поливать двор мечети.

«Ни приветствия, ни доброго слова,— продолжал удивляться про себя суфий,— брови густые, черные, волосы лохматые, переносица низкая, губы толстые, глаза живые, веселые. Ему как будто любое море по колёно».

Занятый этими мыслями, суфий и не заметил, что подошло время третьего намаза. Как бы очнувшись, он взглянул на тень от мечети и убедился по этой тени, что время третьего намаза приблизилось и наступило. Со словами «Ох, и глупец же я» он хотел проворно подняться, но не тут-то было. Немошность оставалась при нем. Кое-как, сначала на четвереньки, а потом уж в полный рост поднялся он, выпрямился, окая и морщаась, с еще большими трудностями вскарабкался на башенку у правого крыла мечети. Надо было прокричать азан, призывая правоверных на молитву. Суфий отдышался после восхождения на высоту, распрямился как только мог, тронул пальцами мочки ушей и, подняв глаза к небу, возгласил:

— Аллах-и-акбар!*

Услышав голос суфия, пришелец мгновенно опустился на колени и застыл в неподвижности. Он поднялся только тогда, когда суфий прокричал последние слова азана:

— Лаиллахо иллалах! **

Тогда он провел обеими ладонями по лицу, отнес ведра на место, а сам опять поспешил к роднику, на этот раз, чтобы совершить омовение.

Теперь скажем несколько слов о суфии. Аймат-суфий был из тех, кто бескорыстно служит людям, выполняет разные поручения. По мере своих сил всю жизнь он помогал своим односельчанам во время свадеб или других обрядов. Старательно и вовремя он обходил кишлак и оповещал всех о дне и часе свадьбы или поминок.

* Аллах велик!

** Аллах — и только он!

Твердого назначенного жалования, ни месячного, ни годового, у нашего суфия не было, доходов определенных тоже не было никаких. По неписаному правилу каждый, кто справлял какой-нибудь обряд, давал суфию четыре лепешки и сколько-нибудь мелких денег.

А между тем, каждый прожитый день, приближавший суфия к старости, прибавлял и тревог. Те услуги, которые он оказывал в прежние времена проворно и быстро, теперь давались ему все труднее. Теперь не только эти обряды, не только подметание двора мечети и вообще содержание его в чистоте, не только уборка снега с крыши, но и просто хождение по земле превращалось в труд.

Тяжела забота о существовании самого себя, еще тяжелее забота о существовании близкого человека. Дума о хлебе насущном — извечная спутница человека. Для суфия, которого все заметнее покидали силы, неумоготу стало быть на побегушках у людей, но отказаться от обязанностей суфия он боялся. Ведь и жена его, служившая односельчанам кайвони *, тоже уже состарилась, согнулась и не годится для исполнения такого рода услуг. Тем самым она лишилась той mzды, которая доставалась ей, как плата за ее бескорыстную службу. Жить им, старикам, становилось все тяжелее и тяжелее. Боязнь остаться голодными начала преследовать суфия и день и ночь. Да, старость все настойчивее и быстрее вела его к неизбежному — к могиле. От имени своей старухи и от своего имени он зывал к милосердному богу: «О, всевышний создатель! Кроме тебя, нет у нас утешителя, не уготовь ты нам в старости, ни мне, ни моей жене, худшей участи. Если понадобится мы тебе, то возьми вверенные нам души в один и тот же день. Другого нам ничего не нужно»...

Незнакомец, появившийся около мечети столь внезапно во время полуденного намаза, вошел в мечеть. Молящиеся стояли в мечети друг за другом, словно четки, нанизанные на нитку, пришелец же отошел в сторонку, в угол, и там, не отрывая взгляда от мин-

* Кайвони (то же, что и дастархончи) — женщина, преимущественно пожилая, которую во время справления обрядов — свадеб, поминков и т. д. приглашают для наблюдения за приготовлением пищи, приемом гостей, вообще за порядком.

бара*, совершал свою молитву. Сначала молящиеся его не видели, потому что все смотрели на имама и старательно молились, подражая ему и повторяя его движения. Но когда в конце намаза имам стал произносить слова приветствия, поворачивая голову то направо, то налево, то и молящиеся тоже повторяли эти слова и тоже поворачивали головы в разные стороны и тогда, конечно, не могли не увидеть в уголке мечети постороннего странного человека, с длинными волосами, падающими на плечи, в чалме. Но лишь только закончился намаз, именно в тот момент, когда правверные вместе с имамом проводили ладонями по лицу, незнакомец исчез. Суфий тотчас заметил его исчезновение. Он, ковыляя, немедленно вышел из мечети, как бы для того, чтобы поправить оставленную за дверьми обувь молящихся. Выстраивая галоши по струночке, он не переставал дивиться: куда это так быстро мог исчезнуть этот дервиш.

Имам, вышедший на террасу мечети вместе с прихожанами, тоже спросил:

— Мне показалось или правда во время намаза находился в мечети некто чужой?

Люди отвечали на это каждый по-своему:

— Да, и я, кажется, видел постороннего человека...

— Действительно, молился в уголке какой-то человек...

— Удивительно, куда это он так быстро исчез...

Наконец все разошлись, опустела мечеть и суфий опять остался один. Он никак не мог успокоиться, обошел двор и так как не знал, как зовут незнакомца, то просто кричал: «Эй, странник!» «Эй, дервиш!» «Куда же вы подевались?» «Станный вы человек, зачем прячетесь?» Но незнакомец не откликался и не являлся на зов. Суфия опять охватил страх. Разные мысли шли ему в голову. «Если бы это был действительно человек, — думал суфий, — зачем бы ему скрываться от глаз людей? Тогда он и пришел бы к мечети иначе и ушел бы иначе. Пожалуй, это святой... Или, пожалуй, это дух предков. Может, именно его-то и видел перед смертью, доброй памяти, мой покойный отец? Ведь покойная, доброй памяти, матушка, рассказывала мне, что бедняга отец, повстречавшись с ду-

* Минбар — возвышение в мечети, с которого читается проповедь.

хом предков в облике дервиша, в тот же день слег, потерял речь, а потом и преставился. Вот и мне теперь явился тот же дух и в том же облике дервиша».

Подумав так, суфий еще больше забеспокоился. Сердце у него сильно билось, все тело охватила непонятная слабость.

«Что же мне теперь делать?—думал суфий.—Пойду подмету вокруг могил имама Хасана, имама Хусана и полью их водой, прочитаю молитву об успокоении их души».

Он взял метлу, ведро и побрел к могилам имама Хасана, имама Хусана. Его колотила дрожь. На лбу выступил пот, и если бы кто-нибудь мог видеть сейчас лицо старика, он поразился бы его смертельной бледности.

Пока суфий подметал и поливал вокруг могил, подошло время вечернего намаза, солнце уже зашло. Старик вспомнил, что не успел совершить омовенье, а нужно немедленно идти на башню и провозглашать азан. Он совсем растерялся и не знал, как ему быть: если сейчас совершить омовение, то он не окажется вовремя на башне. Если сразу идти на башню, то получится, что он провозгласит азан, не совершив омовенья. Тогда его предадут позору и отстранят от обязанностей суфия.

— Простит мне аллах,—утешил суфий сам себя.— Кто же узнает, совершал я омовение или нет, а то, что я опоздаю на башню, узнают все. И он, оставив ведро и метлу, поковылял к минарету. Сначала ему нужно было подняться по ступенькам на террасу мечети, а потом преодолеть двенадцать ступенек самого минарета. Пока он преодолевал эти двенадцать ступенек, сердце его застучало еще сильнее, в глазах потемнело, дыхание перехватило, и земля как будто покачнулась под ногами и завертелась. Он оперся на стену минарета, попытался прокричать «Аллах-и-акбар», как вдруг поканулся и бухнулся прямо на лестницу.

Правоверные, уже тянувшиеся к мечети, увидели это, и с криками: «Что-то случилось с суфием!», «Суфий упал!» — побежали к нему. Лестница была узкая, подниматься по ней можно было только по одному. Те двое, которые поднялись первыми, увидели, что суфий лежит неподвижно, скорчившись и свешиваясь головой с верхней ступеньки лестницы.

— О, горе!

— О, бедняга суфий!

— Что это с ним случилось?—причитали люди.

Суфий был жив, но дышал редко, тяжело и сознание не возвращалось к нему.

Карим-каменотес обхватил суфия, положил его прямо на спину и сказал одному из прихожан:

— Произнесите вы азан, а то люди ведь ждут...

Привыкшие за двадцать лет к голосу Аймата-суфия, молеельщики удивились, увидев на минарете другого человека.

Между тем Карим-каменотес с помощью других людей спустил суфия по узкой лесенке вниз.

— Так, так, потихоньку, — говорил Карим-каменотес сам себе, опуская беднягу с плеч и укладывая его на циновку на террасе мечети.

— Сосед мой, что с вами? — попытался он спросить у суфия, но тот ничего не ответил. Он храпел, задышался, жилы на его шее вздулись, вид у него был страшный.

— Что же нам теперь делать?—спросил Карим-каменотес у людей, сошедших вместе с ним с минарета.

— Да что же мы можем сделать? И все ведь случилось за один миг... Ничего мы не можем тут сделать, пропустим только время намаза.

— Пока не надо его тревожить. Может быть, отлежится и придет в себя...

Оставив суфия на циновке, они поспешили на молитву. Кариму-каменотесу десятиминутное моление показалось за десять дней. Едва дождавшись конца намаза, он поспешил на террасу, споткнулся о калоши прихожан, но, к счастью, не упал и опять оказался возле старика. Он опустился на колени и, всматриваясь в лицо суфия, громко позвал: «Сосед! Сосед!» Но сосед лежал неподвижно с открытым ртом, с закатившимися глазами и не дышал.

— Наш суфий отдал богу душу... Царство ему небесное...— Карим-каменотес поднял глаза к небу, провел ладонями по лицу, затем своим поясным платком подвязал умершему подбородок, а лицо его накрыл белым платочком.

— Святая сила! Ведь совсем недавно он был здоровехонький!—удивлялись люди, выходявшие после намаза из мечети на террасу.—Вот так-то... Мы предполагаем, а бог располагает. Все мы бранные в этом

бренном мире... Если уж так внезапно он понадобился создателю, так уж, наверное, удостоится небесного рая; безобидный он был человек...— так говорили сельчане, как бы утешая и умершего и самих себя.

— Воля аллаха... выпало ему прямо в мечети испустить дух: на минарете он упал, а на террасе мечети представился... быть ему, значит, в раю... Смерть тоже ведь — милость божья.

Тут в разговор вступил имам.

— Рассветет — и будет уже пятница *. Бог даст, доживем до утра и совершим праздничное моление. Это тоже проявление милости аллаха к нашему праведному суфию. Сообщите всем близким и дальним, пусть завтра, собравшись на праздничный намаз, все многочисленные правоверные наших мест примут участие в джанозе** по нашему покойному суфию. Тогда легче ему будет предстать перед всевышним. И еще одну особенность судьбы нашего суфии мы не должны упускать из внимания. Суфий дожил до возраста пророка*** и, кроме того, из мира временного перешел в мир вечный, никогда не имея детей. Я думаю, все захотят совершить благодеяние и примут участие в похоронном обряде.

Тогда опять заговорил Карим-каменотес.

— Справедливы и правильны слова имама. Все вы знаете, что суфий был праведным человеком, искренним и душевным. Найдется ли человек, который был бы обижен им, и человек, у которого он взял бы и не отдал?

— И мухи не обидел за всю жизнь!

— Да, справедливы слова имама. Где рождение, там и смерть. Суфий всегда помнил о смертном часе. Однажды он мне, как соседу, высказал свое завещание. «Сосед,— сказал он,— у меня, не считая старухи, нет более близкого человека, чем вы. Сердце мое чует, что едва ли я доживу до возраста пророка, хотя, разумеется, ведомо это одному лишь аллаху. Так вот, деньги на похороны и поминки мною припасены, да и саван для меня не придется искать, я все пригото-

* У мусульман пятница — праздничный день.

** Дж а н о з а — моление перед похоронами,

*** То есть до шестидесяти трех лет.

вил...» Так он мне говорил, будто знал, что скоро умрет. Я ему сказал, что надежды лишен один только сатана, а человек, пока дышит, надеется, и, бог даст, вы доживете еще до ста лет... И знаете ли, как он мне на это ответил? «Абу Муслим, рожденный под счастливой звездой, и то не вечно жил на свете... Нет, когда придет мой последний час и я умру, в тот же день заверните меня в саван и похороните, а могилу как следует притопчите ногами».

— Зачем же затапывать могилу?—я тогда не удержался от смеха. Прошу простить меня, господин имам и все правоверные, но слова его показались мне смешными.

— Да затем, чтобы грешник, раб божий суфий, не вздумал больше возвращаться в этот ложный мир. Затапчите мою могилу, чтобы крепче была...

— Святой человек был наш суфий...

— Терпеливый, стойкий был человек...

— Всем делал только добро...

— Никого не обидел...

— Надо всем принять участие в похоронах и поминках...

Посоветовались, посоветовались и решили нести покойника в его хибарку, домой. Пять-шесть сельчан во главе с Каримом-каменотесом двинулись печальной процессией к дому суфия. Пока шли, негромко переговаривались между собой.

— Труднее всех теперь будет его старухе.

— Да, плохо, когда в старости один из супругов умирает, а другой остается жить. У нее ведь нет никого, кто бы позаботился о ней.

— Несчастные, прожили жизнь на этом свете, а детей так и не завели.

Перед калиткой замолчали, кое-как протиснулись в нее вместе с покойником.

— Сразу в дом понесем?

— Как бы не перепугалась старуха, надо предупредить.

— А что же нам делать? Все равно ведь должна узнать...

— Давайте положим его пока во дворе, а вы, Карим-ака, потихоньку зайдите и с осторожностью сообщите несчастной о случившемся.

Дворик был маленький, окруженный со всех сторон домами соседей; узкий и кривой, не двор, а кле-

тушка. Глиняная, приземистая кибитка в одну комнатку, рядом кухня, крытая сухим камышом, в ней очаг. Стены и потолок ее покрыты копотью. Как на ладони, тут все богатства, все кухонное добро: висящий на гвоздике грязный мешочек с солью, сшитая из старых лоскутков рукавичка, братья за горячее, грудка кизяка, котелок с тюбетейку, чугунный кувшин для воды...

Услышав движение во дворе, старушка крикнула из комнаты:

— Эй, кто там? Это вы, суфий?

— Должно быть, она дожидается своего суфия...— негромко отозвался на это Карим.—Ну делать нечего, что случилось, то случилось, надо идти.

— Кто там?— повторила старушка,— почему вы не откликаетесь, суфий?

Теперь она выбрела на терраску и начала всматриваться в сумерки. Ей, состарившейся, с ослабевшим зрением, нелегко было, как видно, сразу узнать стоявшего перед ней человека. Наконец она поняла, что это вовсе не ее суфий.

— Кто вы такие?

— Это я, ваш сосед Карим.

— Добро пожаловать, сосед Карим.

Наступило молчание. Карим-каменотес не знал, что говорить дальше, как высказать горестные слова. Сельчане, пришедшие вместе с ним, тоже молчали.

— Каримджан, почему вы молчите? Да вы, я вижу, не один... Глаза-то мои — чтоб им пусто!— совсем ослабели, никуда не годятся.

— На все воля аллаха, дорогая соседка.

— Да что случилось? Говорите скорее! Где мой суфий?

— Быть покорным судьбе предписано каждому мусульманину и каждой мусульманке... Все мы в руках аллаха, и кончаются наши дни бисмиллахир-рахман-ир-рахим... во имя аллаха милостивого и милосердного...

— Неужели... суфий...— старуха, видимо, поняла, что случилось.

— Суфий был смиренным мусульманином, чистым как ангел, как вы сами... Да будет милостив к нему аллах в вечном мире!

— О, горе мне! Ангел был мой суфий! Как же мог он оставить меня, беспомощную, мучиться в этом

ложном мире, а сам!.. — старушка кричала, тряслась и вдруг начала ладонями сильно бить о землю, словно виновницей всех людских бед была эта земля. — Мой повелитель, мой милый суфий, а каков был наш уговор? Почему вы ради собственного покоя бросили меня, горестную, здесь? Нет, не останусь я скорбеть на этом свете. Нет, нет! Уйдя в мир настоящий и вечный, вы не можете бросить меня в этом ложном мире! Нет, уж берите с собой и меня, несчастную... Каримджан, вы мой самый близкий сосед. Устройте место в могиле рядом с суфием и для меня. И вы, милые мои, чтобы не делать двойной работы, копайте могилу сразу и для меня. На этом свете я уже отмучилась, отстрадала, мне нечего больше здесь делать. Теперь у меня одно только последнее желание — о нем и прошу всевышнего — оказаться мне в одной могиле с суфием, чистым, как ангел, совершившим благодеяний больше, чем было волос у него на голове и в бороде. О, мой суфий, зачем же вы ушли, не попрощавшись со мной? Или для того, чтобы не утруждать свою старушку? А ну-ка погляжу я на вас, посмотрюсь я на вас.

Старуха бросилась на охладевшее уже тело своего дорогого супруга и забилась в рыданиях. Иногда она отрывалась от тела, разгибалась и всплескивала руками, ударяя над головой ладонь о ладонь.

— Суфий, вы всегда излучали добрый свет, где же вы теперь? Почему весь мир окутался мраком? И небо — черное, и земля — черная. И небо и земля скорбят вместе со мной!..

Опять она распрямилась и, поднимая лицо к небу, всплескивала руками.

Взглянув вверх, Карим-каменотес увидел, что небо заволокло черными тучами, луна то прорывалась сквозь рваные клочья туч и тогда освещала печальную картину на дворе суфия, то опять скрывалась, и тогда на земле наступала тьма.

Вдруг старуха вскрикнула и повалилась как деревце, подрубленное умелым ударом топора. Недаром говорят, что в день Страшного суда поможет сосед. Карим-каменотес быстрым движением приподнял голову старухи, спросил, что с ней, но ответить она ничего не смогла. Ее унесли в дом и там уложили. Она лежала маленькая, сухонькая, беспомощная.

— О, аллах, вот уж не думали, не гадали, что та-

кие события обрушатся одно за другим. Комната у них одна, куда же денем покойника?

— Придется положить рядом со старухой, не на дворе же его оставлять.

Карим-каменотес взял ветхое одеялишко и постелил его возле старухи. Суфия уложили на это ватное одеяло.

Никого особенного не обрадовавшие своим рождением, ничего особенного не совершившие на этом свете, не нажившие ни детей, ни добра, вот теперь лежат они, старик и старуха, лежат безмолвно, безропотно, как жили, лежат, дожидаясь отправки в последний путь...

Карим-каменотес решил сходить домой и рассказать о случившемся жене. Тем, кто оставались около старухи, он наказал неотрывно смотреть за ней и напомнил им поговорку: «Пока больной жив, жива и надежда». И еще он сказал:

— Надобно сейчас же сообщить гассалу, чтобы пришел и обмыл умершего. Упокойная молитва будет совершена во время пятничного намаза.

— И к могильщику надо бы послать человека,— добавил один из сельчан.

Выходя из кибитки, Карим-каменотес окинул взглядом пожитки суфия. В нише — небольшой еундучок, в другой нише — старое ватное одеяло, на земляном полу дырявая кошма, потрескавшиеся чайник и палы, глиняный кувшин — держать воду, да еще один узкогорлый кувшин для умывания, большая глиняная каса-миска, старая паранджа, износившийся серый мурсак*. Вот и все богатство, которое нажили на этом свете и оставляли после себя суфий и его жена.

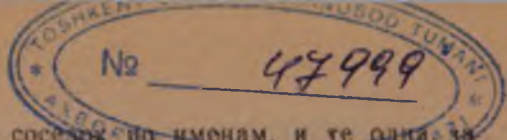
— Помочь бы чем-нибудь старушке...

— Чем ей поможешь?

— Подождем до рассвета, там видно будет. Кажется, моя жена сама пришла.

Мужчины все вышли из лачуги и действительно встретили во дворе жену Карима-каменотеса. Что же она увидела, войдя в кибитку? Суфий — мертв, жена его — чуть жива. В страхе соседка бросилась наружу. На дворе — темень. Ужас окончательно обуял ее. Она

* М у р с а к — верхний халат с короткими до локтей рукавами, одежда для старух.



стала громко звать соседок по именам, и те одна за другой стали выходить на ее зов. Когда собрались, они все вместе вошли в комнату, старуха уже не дышала.

КУШМАЗАР *

Столь внезапно появившийся и так напугавший своим появлением Аймата-суфия человек в шапке дервиша вновь пришел к мечети имама Хасана, имама Хусана на рассвете следующего дня. Он огляделся. Вокруг мечети не было ни души. Два ведра стояли на том же месте, где он их оставил вчера. Он надеялся встретиться с суфием и, если бы удалось расположить к себе старика, то остаться бы при мечети его помощником.

«Ладно, — подумал пришелец, — суфий, наверное, скоро придет, а пока примусь-ка я за работу, подмету двор и побрызгаю его водой».

Вестники утра петухи орали вовсю в кишлаке, будто старались перекричать друг друга, собаки лаяли, не уступая им.

Старики, из тех, кто встают с петухами, уже один за другим тянулись к мечети. Они останавливались, чтобы разглядеть незнакомца, подметающего двор, потом усаживались на суге и заводили между собой неторопливый разговор.

«Наверное, обо мне говорят, — думал пришелец. — Однако уже утро, старики собираются к мечети, почему же до сих пор нет суфия? Он должен приходить раньше всех».

Вдруг, оторвав взгляд от подметаемого двора, он увидел, что со стороны кишлака быстро движется к мечети многолюдная процессия. Не трудно было разглядеть, что несут сразу два табута**. Когда процессия подошла поближе, он вышел ей навстречу и присоединился к толпе. Один табут накрыт халатом, другой паранджой. Это может означать только одно: хоронят мужчину и женщину.

Обычно на похоронах впереди гроба идут сыновья умершего. Они плачут и восклицают: «Отец наш любимый!» или «Матушка наша милая!», «Родимая

* Кушмазар — сдвоенная могила.

** Табут — погребальные ящики.

наша матушка!», «Лишились мы наших близких!»

Видя, что никто не плачет и не стонет впереди табутов, дервиш предался печальным мыслям. «Оказывается, они тоже одинокие, как и я. Да, такова уж участь всех одиноких и бездетных. Когда окончатся мои дни, меня и похоронить-то по-человечески_будет некому. Как только закроются мои глаза, так и погаснет мой свет... Ни следа, ни имени не останется от меня среди людей. У этих покойников был хоть, наверное, свой дом. Односельчане приготовили им могилы, усердствуют ради всевышнего... а у меня?»

Поднимать покойников по крутым ступенькам в мечеть было неудобно и трудно, но молодые парни ловко справились с этим и поставили табуты на террасе. Ради пятницы было тут особенно многолюдно.

Голос муэдзина призвал к заупокойной молитве. Дервиш оказался среди молящихся, он во всем подражал их движениям, но не мог освободиться от мысли: «Почему же до сих пор нет суфия? Почему к молитве призывал другой человек?»

Он украдкой рассматривал всех собравшихся, шарил глазами по толпе, но суфия нигде не заметил.

Моление закончилось, и те же молодые люди подняли погребальные посылки и понесли их к кладбищу.

— Так, молодцы,— одобряли их старшие, хорошо и в тонкостях знающие обычаи, радуясь, что обряд выполняется по всем правилам. Так передвигались над толпой два табута до самого кладбища, а людей не убавлялось, а прибавлялось. Дервиш тоже подставлял плечо то под один табут, то под другой.

Кладбище находилось на открытом, ничем не огражденном возвышенном месте. Небольшая старая мечеть, построенная когда-то из плоского кирпича посредине кладбища, обрушилась со стороны Кыблы*, пришла в негодность, но многочисленные пестрые знаки, привязанные к палкам вокруг нее, по-прежнему придавали ей некую таинственность и святость.

Давно уж повелось, что могильщики на этом кладбище вскрывали старые могилы, отгребали в сторону старые кости, подчищали и подновляли место и клали туда новых покойников. Но на этот раз могильщик

* Сторона молебни, обращенная к Мекке.

поступил по-другому. Для суфия и его супруги он вырыл новую, просторную могилу. Некоторые, видя такое дело, невольно подумали про себя: «Отчего это могильщик ради какого-то жалкого бедняка затратил столько трудов, в то время как мог ограничиться легкой работой?» Но, оказывается, могильщик поступил таким образом не случайно. Он, копая могилу, думал так: «Что хорошего видели они на этом свете? Суфий, так же как и я, прожил всю жизнь, служа людям, я рою могилы и засыпаю покойников землей, а суфий помогал людям на свадьбах, на тех же похоронах и во время исполнения других обрядов. Я ведь хорошо знал и самого покойника и его жену.

Аймат-суфий женился на вдове старше себя на десять лет. Они жили в старой кибитке, доставшейся его жене по наследству от прежнего мужа. В этой кибитке, величиной с куриную клетку, они прожили до конца своих дней, так и не дождавшись ребенка. Вот у кого стоит поучиться супружеской верности. Поучительно ведь и то, что в мир иной они перешли в один день. Это милость божья на них. А что было бы, если бы один из них умер, а другой продолжал бы жить? Конечно, на все воля божья, но несомненно, что участь оставшегося была бы горька. Уж, наверное, не каждому выпадает такое счастье, как выпало суфию и его жене, которые поровну делили радости и горести жизни, а потом взяли да умерли в один день. Так пусть же эти люди, чистые, как ангелы, лежат в просторной и чистой могиле».

Вот с какими мыслями могильщик вырыл новую могилу на открытой и обособленной части кладбища.

Положить тело суфия в могилу помогали могильщику два других человека, а также Карим-каменотес. Когда же подошла очередь покойницы, не нашлось никого, кроме Карима. Тогда вскочил с места горестно сидевший в сторонке незнакомец-дервиш.

— Если позволите, я помогу,—сказал он Кариму и подошел было к погребальным носилкам.

— Погодите-ка, вы сначала скажите, женаты ли вы?

— Нет, я не женат.

— Так отойдите в сторону. Умершую женщину опускать в могилу дозволяется ее мужу, детям, а если их нет, то бедняку, имеющему жену. Так указывает шариат.

Дервиш приложил обе руки к груди, попятился

низад, не зная, куда девать глаза, примостился возле одной старой могилы. Бегая взглядом по людям вокруг, он искал среди них суфия... Слова Карима-каменотеса сильно задели дервиша.

Тем временем каменотес поименно вызвал трех знакомых ему женатых людей.

— Подойдите, помогите могильщику, это на том свете зачтется,— сказал он и, бережно сняв с одних погребальных носилок обветшалую паранджу, с других — халат, передал их одному из молодых людей. Опустив с помощью стоявшего тут женатого человека легкое, как перышко, худенькое тело старухи в могилу, положили его рядом с суфием.

Когда пришла пора закрывать боковое углубление в могиле, не хватило глиняных катышей, новые находились в двухстах метрах. Незнакомец опять обратился к Кариму-каменотесу:

— А таскать катыши дозволяется ли мне шариатом?

— Дозволяется, допустимо. Бегите, поторопитесь совершить благодеяние...— как бы утешил и ободрил его каменотес.

Передаваемыми из рук в руки катышами закрыли боковое углубление в могиле, затем всю могилу засыпали и заровняли землей.

— Мусульмане! Каким человеком был Аймаг-суфий?— громко произнес Карим-каменотес, обратившись ко всем стоявшим вокруг.

— Хорошим был человеком Аймаг-суфий, царство ему небесное!— ответила толпа.

— Какой женщиной была старуха Ходжар-кайво-ни?— снова обратился с вопросом к людям Карим-каменотес.

— Хорошей женщиной была старуха Ходжар, трудолюбивой и бескорыстной. Да вознаградится ей на том свете.

Услышав слово «суфий», дервиш остолбенел. Озираясь вокруг, как помешанный, он бормотал про себя: «Как суфий? Какой суфий? Не снится ли мне это? Какой суфий, почему суфий?»

Люди, слыша, как бедняга разговаривал сам с собой, перешептывались:

— Это дивана*.

...На третий день после похорон Карим-каменотес

* Д и в а н а — безумный, юродивый.

по какому-то делу пришел к мечети. Опять он увидел незнакомца подметавшим и поливавшим двор. «Вот хорошо,— подумал Карим-каменотес,— кстати, поздороваюсь с этим человеком и познакомлюсь с ним, а если он обиделся на мою грубость на кладбище, то извинюсь. Правильно говорят в народе: «И один враг — это много». Он повернулся в сторону дервиша и произнес приветственные слова, но тот продолжал подметать двор, как будто ничего не услышал.

Подумав, что незнакомец слаб на ухо, Карим подошел поближе и повторил слова приветствия, но дервиш отвернулся от него и перешел со своей метлой в дальний угол двора.

Карим-каменотес сначала огорчился и даже рассердился на дервиша за такую его дерзость, но потом успокоился и подумал: «Как бы ни было, ведь это бедный и бесприютный человек. Один раз я его уже обидел нехорошим словом, и будет неправильно, если я его обижу снова. Рана от ножа заживает, рана, нанесенная языком, — никогда. Как видно, я, желая соблюсти требования шариата, ранил душу беззащитного человека. Быть может, я унизил его, назвав убогим. Но он ведь и в самом деле выглядит убогим. Кроме того, зачем находиться в незнакомых местах, среди незнакомых людей, где нет ни одного близкого человека, ну да ладно, может быть, представится еще подходящий случай и я сумею загладить эту обиду в его душе». С этой мыслью он ушел от мечети.

ЧЕРТОВ МОСТ

Караваны, направляющиеся из Самарканда в Бухару или, напротив, из Бухары в Самарканд, а также и жители местных кишлаков, которых необходимость заставляла выходить или выезжать в путь-дорогу, непременно должны были подниматься на возвышенность «Черный ворон». С этой возвышенности дорога, спускаясь вниз, разветвлялась на многие ветви и разбегалась, подобно оврагу, промытому бурными водами в рыхлой земле. Значит, чтобы с одной дороги, там внизу, попасть на другую дорогу, надо было либо подниматься опять на возвышенность, либо идти по низине напрямик. Вот это место в низине между дорогами и называлось Чертовым мостом. Путникам, особенно зимой, не хотелось проделывать длинный обход

на возвышенность, а хотелось пройти или проехать покороче. Болото, селевая вода, снег, все это подмерзло зимой, превращалось в гололед и порождало соблазн пройти напрямик. Но недаром же называли это место Чертовым мостом. Лед проваливался, каждый год происходили здесь несчастные случаи, ломали себе ноги лошади и ослы. Однажды лед проломился под ногой верблюда, нога сломалась. Старший каравана велел прирезать его, а мясо раздал людям.

Вот и теперь у этого самого Чертова моста случилось несчастье.

Стояла пора чилли*, особенно суровая в этот год. Смеркалось. Дороги между гор и пастбищ, дома кишлаков, улицы, все покрывал и окутывал зимний мрак. Ветер выл, как голодный волк. Вместе с ветром летели острые, жесткие снежинки, которые секли и жалили кожу лица и рук не хуже пчел или скорпионов.

В такой-то вот, что называется, божий гнев, в этот ледяной ветреный вечер появился на Чертовом мосту одинокий путник. За веревку он тянул осла, нагруженного мешком с мукой. Верхний болотистый слой сая уже замерз, но в одном месте поверхностный ледок проломился под ослом, и он сначала одной ногой, а потом, когда начал биться, высвобождая ногу, и всеми четырьмя увяз в клейкой густой грязи.

Путник был стар и слаб. Как ни тянул он за веревку, как ни понукал осла, бедное животное не могло сойти с места. Как муха, попавшая в паутину или в мед, осел не мог вытащить ног из липкой, глубокой, подзастывшей грязи. Наконец, осел обессилел, смирился со своей участью и лег, завалившись на бок. Старик долго еще возился в ледяной грязи, но и сам постепенно истратил все силы и тоже упал и замер, скорчившись, рядом с ослом.

Хозяин осла был не только старый, но и тощий человек, как видно из очень бедных дехкан. В эту зимнюю студеную пору на нем была легкая, к тому же ветхая одежка, на ногах чарыки, а на голове истрепанная синяя чалма из грубой материи.

Жизнь, полная невзгод и лишений, да и время само по себе, рано согнули этого человека по прозвищу Джаббаркул-аист.

Злую беду обрушил сегодня на Джаббаркула-аиста

* Ч и л л я — зимнее сорокадневье с 25 декабря по 5 февраля. Время самых суровых холодов.

Чергов мост. Старик совсем окоченел на морозном ветру, чарыки его захлебнули грязь. Кое-как он сумел выдернуть ногу из одного чарыка и стал растирать пальцы руками, чтобы вернуть им чувствительность, при этом полой грязного халата он все старался прикрыть колени. Из второго чарыка вытащить ногу ему так и не удалось.

Он огляделся вокруг, ища помощи и спасенья. Но откуда она возьмется здесь, эта помощь? Пещеры вокруг наводят ужас на людей в вечерние часы, кажется, что за камнями прячутся злые духи или, по крайней мере, хищные звери.

Беда, беда настигла Джаббаркула-аиста. Недаром говорится в пословице: «Чтобы наказать бедняка, не ругай его и не бей, а разорви на нем рубашку». Воистину так. Ведь осел был его первым помощником, его опорой, и вот судьба отнимает у него это полезнейшее животное, и сам он остается теперь закочевший, погрязший в болоте.

«Что же, бог с ним уж, с ослом, пропал осел,— думал старик,— теперь лишь бы самому остаться живому и не ради меня самого, а ради детей. И он начал шептать, словно Азраил уже спустился к нему и занес руку:

— Дети мои голодны,— говорил он. — Считается, что отец думает о детях, а дети — об играх. Нет, мои несчастные дети думают не об играх. Они голодны сейчас и во все глаза глядят на дорогу, ждут, не появится ли отец. В доме нет ни куска лепешки, ни горстки муки. Все, что у нас оставалось, это мешок пшеницы, припасенный на семена. И вот отец взял эту пшеницу, погрузил на осла и повез на мельницу, чтобы обменять на муку. Почему обменять, а не просто смолоть? Зима затянулась. Беспреданно то шел снег, то лил дождь. Вода в арыках замерзла, мельницы все остановились. А мельник тоже себе на уме: дает муки меньше, чем было пшеницы. Он говорит: не хочешь менять на таких условиях, я не неволю. Отправляйся назад домой.

Старик, все больше и больше коченея, явственно увидел вдруг свой дом и жену и детей. Как наяву услышал он голос младшего сына:

— Мама, я хочу есть. Когда же придет отец?

Не менее явственно услышал Джаббаркул-аист и ответ матери:

— Терпение — главное в жизни, терпение дает дивные всходы. Будьте терпеливыми, дети мой. Отец скоро придет. Вот уж тогда накормлю я вас. Знаете ли вы, какими терпеливыми были дети в старину?

— Какими, какими?

— В старину дети, если и были голодны, то держались как сытые. А если кто-нибудь говорил, что он голоден и просил поесть, то мать ему отвечала так: «Подождите, отец ушел сеять пшеницу. Вот она прорастет, расколосится и поспеет. Тогда начнется уборка пшеницы. Потом молотьба. Получится большой ворох из зерен с мякиной. Все мы пойдем туда. Ты вместе с братишкой усядешься на осла, и вы вдоволь накатаетесь. Тем временем подует необходимый ветерок.

Мы проведем ворох, отделив зерно от половы. Зерно на мельнице превратится в муку, из муки мы напечем вкусных лепешек. Будем есть их горячими. А полову и солому отдадим ослу. Ведь и он терпеливо дожидается своей доли...

— Но разве отец ушел не на мельницу? — спрашивает младший сынишка, сдерживая слезы.

— На мельницу, на мельницу. Он вчера еще ушел и скоро придет обратно. Разожгу-ка я огонь в очаге. Мороз разошелся вовсю.

— Испечешь катырму*, да, мама?

— Испеку, испеку.

— И мне, мама?

— И тебе испеку...

Джаббаркул-аист коченел все больше и больше. Тогда он заговорил, обращаясь к аллаху:

— Если бы ты действительно существовал, — говорил старик, — ты услышал бы меня, увидел бы, в какую беду я попал, и облегчил бы мое положение. За что ты так сурово поступаешь со мной? В чем мои грехи? Конечно, не безгрешен я, без греха только один ты, создатель, а я лишь твой раб. Самое время теперь мне покаяться. Есть у тебя и такие рабы, которые сыты, одеты, обуты, бездельничают, море им по колено. Им легче служить тебе, всевышний. А я признаюсь, что не всегда удавалось мне совершать на дню пять обязательных намазов. Это мой тяжкий грех. Помню и еще один. В том году пост совпал с самым жарким

* К а т ы р м а — тонкая слоеная лепешка из пресного теста, испеченная в котле.

месяцем года, с уборкой урожая. День и ночь я проводил в поле. Надо было посеять хлеб и взрастить? Надо. А если посеял и взрастил, надо его убрать? Надо. Сказано было тобой же через пророка, оказывается: «Ты мне даешь усердие, а я тебе изобилие». В последнюю неделю поста ты невероятно усилил жару. Поверь мне, солома в поле перегорала в пыль, иные люди клали в землю яйцо, и оно там запекалось, можно было его есть. Зачем же скрывать мне теперь от тебя... Все равно, наверное, твои ангелы сообщили.. в тот день я не удержался и выпил глоток воды... Но ведь я умирал от жажды. Если бы я, подобно удостоившимся твоих милостей, богатым и обеспеченным рабам наелся бы плова на сахарлык*, а днем бы спал, а просыпался бы только перед третьим намазом... Но ведь у бедняков так: работают руки, значит, работает и рот. Да ладно, если бы я был один, а то вон их семь ртов, а рук у меня только две. Много ли наработают они. Ты сам ведь говорил через пророка, если только не искажены твои слова: «Пять пальцев созданы мной и все они равны»... До сих пор рассказываюсь в том, что выпил тогда я этот глоток воды... Уж за этот грех, думал я, бог меня не оставит без наказания. Вот теперь и наступило время расплаты. Но пожалел бы ты моих детей. Они-то в чем виноваты?.. Да, пожалуй, больше не было у меня грехов. Обещаю и впредь не грешить. Ради детей моих, услышь ты мольбу мою, господи!

Наконец, терпенье причитавшего Джаббаркул-аиста иссякло.

«Видно, бог совсем отвернулся от меня, — подумал он.— Побил меня бог, как в народе говорят, двумя руками. Лишился я осла, пропала и пища для детей. Да и сам я вряд ли доживу до рассвета».

Ночь становилась все холоднее, а метель свирепее. Было уже около полуночи. И тут-то в ночной темноте, там, где дорога спускается с пригорка, стал вырисовываться силуэт человека. Человек тот с трудом и медленно шел по скользкой и бугристой ледяной низине, но все же видно было, что он не изнеможен, не выбился из сил, уверен в каждом своем движении. К тому же шел он с пустыми руками, без поклажи.

* Сахарлык. Во время мусульманского поста разрешается есть ровно в полдень. Это и есть сахарлык.

Он шел и без цели — добавим мы. Этот юноша, которому не исполнилось еще и семнадцати лет (лишь начали пробиваться черные усики), надеялся укрыться от злого зимнего ветра в какой-нибудь пещере. Конечно, там нет горячей печки, растопленной бабушкой, — думал юноша,—но, как говорят, дорогу осилит идущий. А может быть, набреду на какое-нибудь теплое пристанище, на человеческое жилье. Пусть исполнится то, что написано на роду.

Не успел он спуститься с бугра в низину, как наткнулся на что-то лежащее на дороге. Сердце его зашлось со страху. Вспомнились сразу разные сказки про джиннов и рыжих пери, которые идут на любые хитрости, лишь бы овладеть душой и телом красивого юноши. Молодой путник тотчас запричитал заклинание: «Злой дух, нечистая сила, сгинь с глаз, пропади, пропади! Бисмиллах-ир-рахман-ир-рахим! Во имя аллаха милостивого и милосердного!» Бабушка всегда говорила ему в детстве, что эти слова, будучи произнесенными, заставляют отступить нечистую силу, а из человеческой души изгоняют страх и слабость.

«Если бы то, что лежит на дороге, было нечистой силой,—подумал юноша,—оно бы сейчас исчезло. Значит это не джинн, а что-нибудь другое». Юноша и в самом деле почувствовал себя смелее и подошел к тому, кто на дороге. Тут он увидел, что это лежит съевшийся, заоченевший человек. Сначала юноша не поверил своим глазам. Откуда здесь взяться человеку в такую пору. Все люди сидят сейчас в теплых домах. Но сомнений быть не могло, перед ним на дороге лежал действительно человек.

«А я-то считал себя самым несчастным человеком на свете, — подумал юноша, — оказывается, есть еще несчастнее меня. Ладно, мне уж, значит так на роду написано. А этот человек почему попал в такое положение? Жив ли он?

Юноша повернул человека и со страхом взглянул ему в лицо. Тот на мгновенье приоткрыл глаза. «Ладно, душа еще в теле». Юноша стал трясти несчастного, растирать ему щеки. Одновременно он спрашивал: «Кто вы? Скажите, кто вы? Как вы сюда попали?»

Редкая борода, острый нос, морщинистая кожа...

— Отец, а отец, где ваш дом? В какой стороне?

— Осел...—чуть слышно проговорил человек,—мой осел...

— Какой еще осел?

— Осел... увяз в грязи... мешок с мукой...

Юноша огляделся и только сейчас увидел еще и осла, действительно, увязшего в грязи, и мешок рядом с ним.

— Ну, осел-то ладно,— сразу же решил юноша.— Первым делом надо спасать человека — отнести его в тепло и притом быстро, но куда. Ладно, что будет со мной, то и с ним. Была не была. А ну-ка, отец, давайте. Если не будете двигаться, замерзнете совсем. Давайте-ка берите меня за шею. Можете ли вы хотя бы стоять?

Молодой человек поднял старика на ноги, но понял, что если его отпустить, то он опять упадет. Тогда он ухватил старика за пояс и, взвалив себе на плечо, зашагал по грязному льду.

Юноша этот, широкогрудый и плечистый, был от рождения богатырь. Он легко поднимал шестипудовую тяжесть, запросто кидал на арбу мешки с зерном. Так что вообще-то ему ничего не стоило нести на плече этого тщедушного старика. Долго ли, коротко ли тащил юноша-богатырь свою ношу, но вот впереди и вверху показался вроде бы огонь. Его можно было бы принять и за звезду, только откуда же взяться звезде в такую непогоду. Значит это не звезда, а настоящий огонек, — возликовал юноша. Держитесь, отец, похоже, что мы спасены.

Вскоре, подойдя к подножию холма, юноша увидел ступеньки, ведущие наверх, к высокому огоньку. Тащиться по ступенькам было тяжелее, чем по ровному месту, даже и такой силач как наш спасатель старика начал было задыхаться, но собрал все силы, а чтобы отвлечься, принялся считать ступеньки под ногами. Но потом он бросил это занятие и, не сдерживая больше радости, громко заговорил:

— Держитесь, бобо *! Видите — огонек совсем уже близко, а где огонек, там и человек; где человек, там сандал; где сандал, там тепло; где тепло, там жизнь. Держитесь, отец! Вы хоть бы подбодрили меня возгласом «хайт», подобно тому, как погонщик погоняет верблюда. Хоть мы с вами и не верблюды...

С этими словами юноша преодолел последнюю ступеньку и оказался перед большим зданием, кото-

* Б о б о — дедушка.

рое в темноте показалось ему настолько величественным, что он принял его за мечеть.

Не снимая старика со своего плеча, молодой человек подошел к окошку, которое как раз и светилось во тьме. Из-за окна доносились голоса разговаривающих людей. Кто-то там в комнате читал выразительно:

— Мал-и-джах ахлида йук мехр-и-ва-фо
Бас менча мехр-и-вафо — мал ила джах.

Юноша не понял точного смысла этих слов, но их музыкальное звучание его взволновало, он забыл на мгновение и о ледяном пронизывающем ветре и о несчастном старике, покоящемся у него на плече.

— Да,— продолжался разговор,— очень мудро выразился почтеннейший Навои. Мал-и-джах ахлида йук мехр-и-ва-фо...

Любви и верности подчас лишен богач,
Но верность и любовь уж сами есть — богатство.

То юноше казалось, что в комнате разговаривает много людей, то, что там один человек, который разговаривает сам с собой. Он поспешно подошел к двери, постучался в нее и крикнул как можно громче:

— Эй, кто-нибудь помогите!

Дверь открылась, из помещения на улицу повалил синий дым. Первое, что увидел юноша в помещении, был сандал, дымивший посредине комнаты. В сандале горели аккуратно сложенные пеньки деревьев. В углу комнаты, на разостланном синем платке лежала раскрытой какая-то книга. Ну, а на пороге, само собой разумеется, стоял хозяин этого дома.

Тот, кого мы называли хозяином, был уже знакомый нам человек, которого мы видели похожим на дервиша около мечети имама Хасана, имама Хусана. Не дожидаясь никаких вопросов от хозяина, юноша топорливо заговорил:

— Бободжан, помогите. Скорее надо снять с него чарыки, не отморозил ли он ноги...

— Вносите же его скорее в тепло.

Хозяин и гость вдвоем стащили обледенелые грязные чарыки с ног старика. Юноша пощелкал пальцем по его ступням.

— Чувствуют ваши ноги?

Старик кивнул утвердительно.

— Ну и хорошо, руки-ноги целы.

Юноша принялся благодарить хозяина дома, как будто тот спас его самого, а тот, не очень-то обращая внимания на похвалы, взял из ниши глиняный светильник и поднес его поближе к лицу старика. Тотчас он удивленно воскликнул:

— Э, да это же наш Джаббаркул-аист!

— Джаббаркул-аист? Так вы знаете этого человека?— удивился теперь и юноша.

— Я ведь цирюльник, а это мой постоянный клиент. Он из отдаленного верхнего кишлака. Как же попал бедняга в такую беду? Вы-то ему кем приходитесь?

— Никем я ему не прихожусь, бободжан, но хорошо, что он оказался вашим знакомым. Я случайно наткнулся на него на Чертовом мосту... — и юноша рассказал, как он нашел замерзающего человека.

— Такова уж, видно, судьба.

— Да, видно, судьба... Путь мой пролег как раз через то место, где лежал несчастный старик. Ведь если бы я шел правее или левее... Тьма на улице непроглядная и ни одной живой души вокруг. Один я оказался на дороге и надо же, набрел на старика... Правильно вы говорите, такова уж, видно, судьба.

— Притом ни одного шага судьбы не совершается без причины, причина порождает другую причину, все на этом свете связано одно с другим. Так-то, браток. Если бы вы не вышли сегодня ночью в дорогу, то что было бы с этим бедняком? То-то вот и оно, ну-ка давай пододвинем его к огню... А на вашем счету теперь великое благодеяние.

— И на вашем тоже, бободжан.

— Юношу звали Хатам. Греясь у огня, он восклицал время от времени:

— Ах, огонь! Хороший огонь! Милый огонь! Почему тебя не было там, в ледяной долине?

— Главное, выжил бы старик. Теперь выживет. Дадим ему сейчас горячего чаю.

С этими словами хозяин худжры* принялся переливать кипяток из чугунного кувшина в чайник.

— Таков уж закон, пока горячее питье не попадет человеку в желудок, человек не согрется.

* Х у д ж р а — комната, келья.

— Ну ладно. Я уйду, вверяя этого бедного старика вам, а вас аллаху.

— Куда же вы в такую лютую ночь?

— Застрял в болоте и осел старика. Если он еще жив, то я непременно вытащу его из грязи.

— Без воли божьей и колючка не вонзится в ногу... И мне бы надо пойти...

— Нет, нет, ваше дело возиться со стариком, а я отправлюсь один.

— Постойте-ка, вы сказали что вас зовут Хатам? Что-то мне вспоминается...

— Я вас тоже теперь узнал. Как-то раз у поворота дороги под старым деревом я у вас брился. Так вы тот самый Ходжа-цирюльник?

— Судьба, судьба, сынок. Так ты до этого раза никогда не встречал этого старика?

— Не встречал, бободжан.

— А не врешь ли ты?

— Лжец — враг аллаха, бободжан.

— Так-то так, но все же впредь постарайся не говорить неправды. А теперь иди, да возвращайся. Нам есть о чем поговорить с тобой не спеша.

Ходжа открыл дверь и выпустил Хатама на улицу.

Выйдя из освещенного помещения в ночную тьму, Хатам некоторое время стоял, не различая дороги. Но постепенно кругом начало просветляться. Сперва выступила из мрака мечеть, потом появились и ступеньки, по которым он недавно сюда поднялся. Холод как будто немного ослаб, и ветер стал тише. Хатам спустился по лестнице и зашагал в сторону Чертова моста.

Ко всем приключениям и хлопотам прибавилась еще одна забота. Его чуть было не назвали лжецом. И почему он сказал: «Возвращайся, нам есть о чем поговорить. О чем он собирается со мной говорить? И почему он меня заподозрил во лжи? Ведь действительно этого старика я вижу впервые. Когда я брился в тот раз у цирюльника, там брился и какой-то старик. Голова у него была вся в родинках, так что цирюльник изрезал ему всю голову, а к каждой ранке прикладывал клочок ваты. Вся голова была в вате. Может быть, это и был тот самый старик... Но что из того, если я его все равно не запомнил и не узнал...

Но сам тот случай Хатам, шагая теперь в непроглядной тьме, вспомнил хорошо и подробно.

Однажды он шел и увидел, что около самой дороги, под старым карагачем, устроился цирюльник со своими инструментами. Давно уж юноша не был у цирюльника, волосы у него отросли и теперь он решил воспользоваться счастливым случаем. Он поздоровался, но брадобрей, занятый своим делом, не обратил на него никакого внимания, хотя и ответил на приветствие.

На низком табурете сидел с выражением нетерпения жидкобородый пожилой человек, с подвязанным на шее передником коричневого цвета. Похоже, бритва брадобрея доставляла ему мученье, он сидел, стиснув зубы, а при каждом движении бритвы глубоко втягивал морщинистую шею.

— Да не будьте же ребенком, наберитесь терпенья,— ворчал цирюльник,— у вас же не волосы, а настоящие гвозди. И это бы ладно, но в волосах у вас гнездится несчетное количество родинок. Тут есгь родинки матки, вокруг них как цыплят вокруг наседки множество родинок-детенышей.

То и дело цирюльник прилеплял вату к порезам на голове старика.

Правя бритву, он взглянул, наконец, и на юношу, стоящего в стороне и ожидающего своей очереди.

— Вы бы присели, молодой человек. Скажите-ка, приходилось ли вам бывать на хлопковом поле?— спросил вдруг цирюльник, показывая глазами на голову старика.— Хлопчатник сначала завязывает бутоны, потом цветет, потом образует коробочки. Коробочки созреют и раскрываются, вот вам и хлопок... Не напоминает ли вам голова этого человека хлопковое поле?

Хатам не знал, что ответить на слова брадобрея.

— Ну, это я так болтаю, просто, чтобы поговорить.

Рука его не переставала работать, но и язык тоже.

— С другой стороны говорят, что родинки к счастью, и у кого больше родинок, тот и счастливее.

— Если так, то дедушка должен быть счастливейшим человеком,— осмелился наконец вернуть свое словцо и Хатам.

— Вам бы такое счастье,— отозвался бедняк,— а я уж им сыт по горло. Да скоро ли вы перестанете меня мучить, дорогой мой Ходжа?

— Терпенье, мой друг, терпенье. Это только молодость нетерпелива, а вам торопиться уж некуда. Да, молодость это ветер, это горенье, не правда ли, молодой

человек?— продолжал балагурить цирюльник.— Ни ветер, ни огонь обуздать нельзя, но старость, оказывается, укрощает и то и другое. Не остается под старость ни огня, ни ветра, а остаются только немощи да болезни... И выходит, что на свете нет ничего ценнее и прекраснее молодости... Да, да, придет время, и вы меня вспомните. Сейчас вы думаете, что болтаю вздор, но когда-нибудь скажете сами себе: а ведь прав был тог юродивый брадобрей!.. А вата — это хорошее дело,— продолжал болтать без умолку Ходжа-цирюльник.— Вот случится вам простыть, подожгите ее, а потом понюхайте, все как рукой снимет. Или ранение какое-нибудь. Жгите вату в чашке. На стенках останется нагар. Этот нагар и прикладывайте к ране... Я-то сейчас не нагар прикладываю к его голове, а просто вату, но и то, видите, кровь не течет, остановилась. Да что толку. Волосы отрастут снова. Не пройдет и двух недель, как он появится опять, понукая своего осла... Вы думаете, эта бритва терзает его родинки? Она терзает мое сердце. Я ему сколько раз говорил: бери пример с меня. Вот я отрастил волосы и хожу себе и неверным от этого не стал. А он твердит одно: «Отращивать мусульманину волосы на голове запрещается шариадом»... А я вам скажу, что мы неучи и невежды. Темные мы и бестолковые. Невежество и злоба свили гнездо в голове у нас, мусульман. Не смейтесь, но мы подобны овцам. Когда им связывают ноги и когда подносят нож к горлу, они безропотны и бессильны. Мы тоже позволяем вязать нас по рукам и ногам и безропотно ждем, когда нам перережут горло. Но почему? Мы ведь не овцы! Мы только и знаем говорить: «Вай хам гузор!.. Инам мегузарад».

Хатам не знал этих слов, но тогда не стал переспрашивать разговарившегося цирюльника, а продолжал слушать.

— Жить, со всем свыкаясь и примиряясь,— это уже бедствие. «Смирись с судьбой! Слово бога за каждый миг жизни!» А если несправедливость и унижение? Тоже с этим надо смириться, тоже за это благодарить? Только и умеем повторять «Инам мегузарад»... Великий человек Низами сочинил, оказывается, такую газель:

Ты смертен, так зачем же шахом хочешь стать?

А шахом став, зачем же зло творишь на свете?

Слова цирюльника и эти стихи произвели тогда на Хатама сильное впечатление. Брадобрей продолжал:

— Все его старания, оказывается, до тех пор, пока он не станет шахом. Достигнув же этой высоты, он забывает, что и он такой же смертный. Он поступает как ему вздумается, по своему произволу. Подданные для него, все равно, что овцы. Ну, а овец, известное дело, употребляют в пищу. Но если и эмира и нищего одинаково создал бог... Вы верите в это, дедушка?

— Ох, голова у меня совсем закружилась, снял бы ты уж с меня этот передник...

— Ну, ладно, идите. Освобождайте место. Долина, вместившая одного дервиша, вместит и другого... Садитесь, мой светик,— обратился он к молодому человеку.

Обо всем этом вспомнил Хатам на пустынной дороге среди темной и холодной ночи. Он все убыстрял шаг... Ему не терпелось скорее найти осла, вернуться в дом Ходжи и послушать его.

РАДИ ДРУГОГО, НЕ ДУМАЯ О СЕБЕ...

Осел в промерзлой грязи был еще жив, но сколько ни пытался Хатам поднять его на ноги — не мог. Все же он не отступился, изо всех сил тянул осла за задние ноги, подтаскивая постепенно из глубокой грязи поближе к твердому месту. Но оказалось, что у бедного животного на твердом месте нет сил не только стоять на ногах, но просто пошевелиться, да и сам юноша выбился из сил. Руки ломило от холода. Он трогал осла носком сапога: «Ну жив ли ты?», — осел приоткрывал глаза, в которых стояла тоска, и тотчас закрывал их снова.

— Бедное, бедное животное! Хозяин мало того, что нагружает тебя свыше сил, но еще садится и сам. И разве он спрашивает у тебя, тяжело ли тебе? Бедное, безответное животное. Если бы ты мог думать, то, наверно, спросил бы, есть ли на свете справедливость? И в первую очередь, есть ли справедливость среди людей. Ну вот я один из людей. А что я видел хорошего, живя на свете? Один богат, а другой беден. Богатые говорят в этом случае: «Пять пальцев на руке, и все они не равны между собой. Точно так же бог создал и людей. Поэтому смиритесь с неравенством». А твой владелец такой же труженик, как и ты. Уж вы-то, пожалуй, равны между собой, оба горькие горемыки. Но мир,

говорят, подобен вертящемуся колесу. То, что сейчас вверх, потом оказывается вниз и наоборот. Ведь сказал же некий осел, твой собрат: «Если бы меня подковали, как коня, то я бы гору сдвинул с места». Не родственник ли тебе этот осел? А ну-ка давай попробуем, поднимем тебя за хвост...

На этот раз осел и сам старался не меньше Хатама. Кое-как он выпрямил задние ноги (благо тянули за хвост) и, опираясь мордой о землю, пытался встать и на передние ноги. В конце концов ему это удалось, осел стоял теперь на всех четырех ногах, хоть и было это жалкое зрелище.

«Мешок-то не пропадет,— думал между тем Хатам.— Мешок не сдохнет и волки его не съедят. А тварь замерзнет, если не будет двигаться. Как видно, даже ослу это понятно, если бы не понимал, откуда бы взялись у него силы, чтобы подняться».

Стремена не то прилипли вместе с грязью, не то примерзли к бокам осла, узда затвердела, как деревянная. Дрожа мелкой дрожью, осел ступил раз, поскользнулся, едва не упал снова, ступил другой ногой и наконец посеменил по дороге.

У мечети Хатам завел осла под навес, сложил в углу несколько сухих поленьев, положил на них два корявых пня и развел огонь, чтобы под навесом стало хоть немного теплее. На душе у него полегчало и успокоилось, теперь оставалось только сходить за мешком. Но сначала он зашел в дом погреться и заодно порадовать старика. Но цирюльник сразу же сделал предупреждающий жест, приставив палец к губам. Старик, оказывается, только что задремал.

— О пшенице он горевал больше, чем об осле. Дома, говорит, нет ни горстки муки, дети голодные.

— Если так, не буду откладывать, пойду за мешком. Этот осел все равно несколько дней будет непригоден к работе.

— Добро, мой сын. Зима есть зима. Невозможно среди зимы ждать, когда потеплеет и откладывать дела на теплые дни. Невозможно также сидеть сложа руки в ожидании еды, которой нет. Но не тяжела ли окажется ноша?

— Неужто не поднять мне двух пудов? Силы у меня еще есть. К тому же, пока я туда да обратно, глядите и рассветет. Только две половинки составляют целое. Сделаем доброе дело, обрадуем старика...